

НИТЭК

ДАНН



ЛЮБОВЬ ГИКА

Кэтрин Данн
Любовь гика
Серия «Чак Паланик и
его бойцовский клуб»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26112655

Кэтрин Данн. Любовь гика: АСТ; Москва; 2017

ISBN 978-5-17-092686-2

Оригинал: KatherineDunn, "GEEK LOVE"

Перевод:

Татьяна Юрьевна Покидаева

Аннотация

Эксцентричная, остросюжетная, странная и завораживающая история семьи «цирковых уродов». Строго 18+! Итак, знакомьтесь: семья Биневски. Родители – Ал и Лили, решившие поставить на своем потомстве фармакологический эксперимент. Их дети: Артуро – гениальный манипулятор с тюленьими лапами вместо конечностей, которого обожают и чуть ли не обожествляют его многочисленные фанаты. Электра и Ифигения – потрясающе красивые сиамские близнецы, прекрасно играющие на фортепиано. Олимпия – карлица-альбиноска, влюбленная в старшего брата (Артуро). И наконец, единственный в семье ребенок, чья странность не проявилась внешне: красивый золотоволосый Фортунато. Мальчик, за ангельской внешностью

которого скрывается могущественный паранормальный дар. И этот дар может либо принести Биневски богатство и славу, либо их уничтожить...

Содержание

Предисловие	6
Книга I	10
Глава 1	10
Глава 2	25
Глава 3	46
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Кэтрин Данн Любовь гика

*Эли Малахии Данн Даполонии
А эта дьявольская тварь – моя¹.*

© Katherine Dunn, 1989

© Перевод. Т. Ю. Покидаева, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

¹ У. Шекспир. Буря. Действие V, сцена 1. – Здесь и далее примеч. пер.

Предисловие

Я сама поражаюсь, что эта книга еще переиздается, хотя после первой ее публикации прошло более четверти века. Придется все-таки сделать одно запоздалое признание. Я не собиралась называть роман «Любовь гика». Это была просто шутка, чтобы отмахиваться от вопросов, о чем я пишу. Предполагалось, что ответ охладит пыл любопытствующих и им не захочется расспрашивать дальше. Фраза намеренно резкая и корявая, с липко-слащавой сентиментальной «любовью» и намеком на извращение.

Но если по правде, мне всегда нравилось слово «гик». В 1980-х годах, когда я работала над романом, данное слово имело иное сленговое значение по сравнению с нынешним. Это было жестокое, обидное обозначение человека с дефектами личности и ярко выраженной социальной недостаточностью. Тогда, как и сейчас, оно заключало в себе намек на некую темную, тайную манию, а также на непреходящую угревшую сыпь, никудышную гигиену и личные склонности, малоприятные для окружающих. За прошедшие десятилетия смысловая нагрузка слова переменилась. Но в своей книге я употребляю его в самом первом, исконном значении. Настоящие гики – цирковые артисты определенного жанра. Обычно их представляли как дикарей или психически больных людей, которые на своих выступлениях откусывали головы

живым курам. Иногда вместо кур брали крыс, змей и других животных, но самыми распространенными жертвами были все-таки куры.

Вероятно, слово «гик» происходит от немецкого *geck*, что означает «дурак», или голландского *gek* – глупец или безумец. Но мне больше нравится ономастопоэтическая, или звукоподражательная, теория. Я не раз наблюдала за курами, умиравшими насильственной смертью, и точно знаю, что слово «гик» напоминает звук, который они издают перед смертью.

Порой шутки начинают жить собственной жизнью. За десять лет, ушедшие на написание романа, я так часто повторяла эту конкретную шутку, что «Любовь гика» въелось мне в мозг как рабочее название. Мать в ожидании ребенка иногда дает забавное имя своему растущему животу – например, Тыковка, Пуговка, Звездочка или Комочек, – при этом перебирая в уме настоящие человеческие имена, чтобы выбрать самое подходящее и наградить им ребенка, когда тот родится на свет. Так же и я собиралась дать своей книге полноценное и благозвучное название по окончании работы. Идеальное название должно быть кратким, но выразительным, и начинаться на букву «Т».

Почему именно «Т»? Причину надо искать в моем страстном юношеском увлечении историей Европы. Я много читала по данной теме и однажды наткнулась на мысль, что Аттила, правитель гуннов, пользуется незаслуженно дурной сла-

вой. Обычно историю пишут победители, однако воины Аттилы не владели писательским мастерством, а побежденные являются людьми образованными, словоохотливыми и язвительными. Мне подумалось, будет забавно подобрать такие названия для своих книг, которых я напишу немало (в чем я не сомневалась), чтобы каждое начиналось с соответствующей буквы, и потом эти буквы сложились бы в имя Аттилы. Это будет такой выразительный жест, дань уважения через века. В приступах оптимизма я размышляла о том, что у меня, может, даже получится добавить к «Атилле» еще и «гунна». Не помню, мечталось ли мне о «Биче Божьем». Хотя нет, я бы столько не выпила.

Мне представлялась такая картина: пройдет сто лет или больше, и какому-нибудь помощнику младшего библиотекаря поручат разобрать заплесневелые фонды в дальнем подвале, куда никто не заглядывал много лет, и он случайно наткнется на стопку моих отсыревших книг. Выстроит их на полке по дате публикации и заметит, что первые буквы названий складываются в Аттилу. Он улыбнется и продолжит работу. Так мне виделась моя цель: этот краткий, удаленный во времени миг, когда кто-нибудь поймет мою шутку.

Возможно, кому-то покажется, будто подобная цель мелковата для дела всей жизни, но так уж я для себя решила. И делала определенные успехи. Мой первый роман назывался «Чердак» (Attic), потом был «Грузовик» (Truck). Под вторую «Т» я написала роман «Жаба» (Toad), но он тихо

умер при рождении. Все-таки полагая «Жабу» жизнеспособной, я приступила к четвертой книге под названием «Изыскание» (Inquiry), и тут меня захватила идея, которая вылилась в «Любовь гика» (Geek Love), и я целиком погрузилась в работу, забросив все остальное.

Так сбились все планы. Закончив книгу, я не сумела придумать ни одного подходящего названия на букву «Т». Конечно, легко закатить глаза и сказать: «Ну, сделала бы просто “Гик” (The Geek). Но подобное название исказило бы читательское восприятие, смещая акценты и обрубая все прочие компоненты истории. По крайней мере, мне так казалось.

Вероятно, после стольких лет жизни, отданных этой книге, рабочее название впечаталось в каждую клеточку моего серого вещества. Наверное, усталость или неминуемая печаль от расставания с законченной книгой притупила мне мозг. В общем, я не сумела придумать название лучше, не говоря уж о том, чтобы оно начиналось с «Т».

Книга вышла под названием «Любовь гика». Мне до сих пор обидно, что грандиозные планы с Аттилой разбились об эту упрямую «К». Но в этом – и во всем остальном – не виноват никто, кроме меня.

Кэтрин Дани

Бухта Пайпс, октябрь 2014

Книга I

Полуночный садовник

Глава 1

Счастливая семья: его слова, ее зубки

– Когда ваша мама была гиком, мои причудки, – говорил папа, – она превращала свои представления с откусыванием куриных голов в настоящее хрустальное чудо, и сами куры к ней льнули, танцевали вокруг, замороженные, вождедеющие. «Раскрой свои губки, сладкая Лил, – кудахтали они, – покажи нам свои зубки!»

В этом месте Хрустальная Лил, наша светловолосая мама, уютно расположившаяся на диване, где по ночам спал Арти, посмеивалась в шитье у себя на коленях и качала головой.

– Ал, не морочь детям головы. Куры носились как оглашенные.

Это происходило дождливыми вечерами, в дороге между представлениями и городами, на какой-нибудь площадке для кемпинга или просто придорожной поляне, где останавливался на ночевку бродячий цирк «Фабьюлон Биневски», и мы себя чувствовали защищенными в нашем передвижном поселении.

Предполагалось, что после ужина, сидя с набитыми животами при свете лампы, все семейство Биневски будет читать и учиться. Но если на улице шел сильный дождь, папа впадал в разговорчивое настроение и предавался воспоминаниям. Стук дождя по металлической крыше нашего большого фургона отвлекал его от газет. Дождь в дни представлений был катастрофой. Дождь в дороге означал беседу, а поговорить папа любил.

– Как жаль, Лил, – вздыхал он, – что наши дети видят лишь убогих гиков из Йеля, что подвизаются тут на лето.

– Из Принстона, дорогой, – мягко поправляла его мама. – Осенью Рэндалл переходит на второй курс. Как я понимаю, это наш первый студент из Принстона.

Мы, дети, чувствовали, что наша история скатывается к обсуждению повседневных проблем. Арти толкал меня локтем в бок, и я произносила за всех:

– Расскажи, как мама была гиком!

Арти, Элли и Ифи, Цыпа и я усаживались на полу между папиным креслом и мамой. Мама делала вид, будто ее увлекает шитье, а папа щипал себя за усы и шевелил кустистыми бровями, изображая задумчивость.

– Ну... – начинал он с притворной неохотой, – это было давным-давно...

– До того, как мы родились?

– До того, как вы родились. – Папа взмахивал рукой в своей импозантной манере шпрыхсталмейстера. – Еще до того,

как я вас придумал, мои причудки!

– Тогда меня звали Лиллиан Хинчклифф, – вступала в разговор мама. – И когда ваш отец обращался ко мне, а это бывало редко и неохотно, он называл меня «мисс».

– Мисс! – хихикали мы.

А папа громко шептал, словно мама его не слышала:

– Я страшно боялся! Был сражен, так влюблен, что заикался, когда заговаривал с ней. «Мы-мы-мисс...»

Мы заливались смехом при мысли, что папа, великий говорун, был таким робким.

– Разумеется, я обращалась к вашему папе «мистер Биневски».

– И вот, значит, я, – продолжал папа, – с утра пораньше беру шланг и вымываю кровь, пух и перья из гиковского шатра. Как сейчас помню, дело было третьего июля. Я радовался, что заказал замечательные афиши для нашего гика, и предвкушал, как публика валом повалит на представление. На выходных на Четвертое июля народ жаждет веселья, и билеты расходятся, как горячие пирожки, а в том году у меня был отменный, могучий гик. И работал с душой, вот что важно. В общем, я поливаю из шланга арену, очень довольный и гордый собой, и тут входит ваша мама, вся такая воздушная, как беэе, и говорит, что мой гик нынче ночью сбежал, как говорится, свернул шатер, сел в такси и умчался в аэропорт. Оставил записку, что его отец захворал, и ему – в смысле, гик – надо срочно вернуться домой в Филадель-

фию и взять на себя управление семейным банком.

– Брокерской конторой, – поправляет мама.

– И вот ваша мама, мисс Хинчклифф, стоит передо мной, вся такая воздушная, нежная барышня, и я даже выругаться не могу! И что мне делать? Афиши с гиком уже развешаны по всему городу!

– Это было во время войны, мои сладкие, – замечает мама. – Какой именно, я забыла. Вашему папе тогда было трудно найти работников, иначе он никогда бы не взял меня в цирк, даже делать костюмы. При моем-то отсутствии опыта.

– И я стою, одурманенный ароматом духов мисс Хинчклифф, ее «Полуночным марципаном», и у меня ум за разум заходит, глаза в кучу от дум. Я не мог сам заменить сбежавшего гика, потому что уже выполнял двадцать разных работ. Я не мог попросить укротителя Хорста, потому что, во-первых, он был вегетарианцем, а во-вторых, он сломал бы себе все зубы о первую же куриную шею. И тут ваша мама мне говорит таким ангельским голоском, словно предлагает пирожные и херес: «Я могу выступить за него, мистер Биневски», – и я чуть было штаны не испачкал от такого-то поворота.

Мама ласково улыбается, глядя на свое шитье, и кивает.

– Мне хотелось доказать, что я могу кое-что сделать для цирка. Я тогда пробыла в «Фабьюлоне» всего две недели и хорошо понимала, что я у них на испытательном сроке.

– И я ей говорю, – перебивает папа, – я говорю: «А как же,

мисс, ваши зубы?» Имея в виду, что она может их повредить, поломать, а она улыбается – вот как сейчас – и отвечает: «Я думаю, они достаточно острые!»

Мы смотрим на маму. У нее ровные белые зубы. Хотя, конечно, к тому времени все они были уже искусственными.

– Я посмотрел на ее тонкую, хрупкую челюсть и аж застыл. «Нет, – сказал я. – Я не могу вас просить...» Но мне вдруг пришло в голову, что белокурая красавица гик, да еще и с ногами... в смысле, с такими ногами... явно не повредит нашему цирку. Я в жизни не слышал про девушек-гиков, но уже представлял афиши. А потом снова сказал себе: «Нет... нельзя, чтобы она...»

– Ваш папа не знал, что я часто наблюдала за выступлением нашего гика и дома помогала Минне, нашей кухарке, когда она забивала птицу к столу. Я его зацепила. У него не было выбора, кроме как дать мне возможность показать себя в деле.

– Но я боялся до рези в желудке, когда в тот же день началось ее первое представление! Боялся, что ей станет противно и она сбежит домой в Бостон. Опасался, что у нее ничего не получится и разъяренная публика станет требовать деньги назад. Боялся, что она может пораниться... А вдруг курица клюнула бы ее в глаз или оцарапала ей лицо? Курицы, они такие.

– Я и сама волновалась, – кивает мама.

– Народу собралось изрядно. Была суббота, а воскресенье

– уже Четвертое июля. Я сам носился весь день, как укушенная курица в гиковском балагане, у меня было время лишь на пару секунд заглянуть в шатер, а потом я встал на входе зазывать публику. Ваша мама была как прелестная бабочка...

– На самом деле, я выступала в лохмотьях. Белого цвета, поскольку на белом хорошо видна кровь даже в темном шатре.

– Но это были такие изящные лохмотья! Низкий вырез, разрез до бедра! Все летящее, шелковистое! В общем, я сделал глубокий вдох и отправился зазывать народ на представление. И публика повалила. Там было много солдат. Я еще продавал билеты, и тут изнутри донеслись крики и свист, улюлюканье и громкое топанье, что привлекло еще больше людей. В конце концов я посадил на кассу парнишку, который продавал попкорн, а сам пошел посмотреть, что происходит.

Папа улыбался маме и крутил ус.

– Никогда этого не забуду, – говорил он со смехом.

– У меня не получалось убедительно рычать и щериться, поэтому я пела, – пояснила мама.

– Развеселые немецкие песенки! Высоким, тоненьким голоском!

– Франц Шуберт, мои дорогие.

– Она порхала, как грациозная пташка, а затем схватила первую курицу, и никому даже не верилось, что она сможет хоть что-то сделать. А когда ваша мама без лишних раз-

думий откусила ей голову, курице, публика просто пришла в неистовство. Подобного не бывало нигде. Такого изящного поворота запястья, вампирского щелчка зубами над птичьей шеей, столь артистичного подхода к крови, будто это не кровь, а шампанское. Ваша мама тряхнула светлыми волосами, искрившимися, как звездный свет, выплюнула откушенную куриную голову, так что та улетела в угол, а потом разодрала птичью тушку своими аккуратными розовыми ноготками, подняла еще трепетавший труп, словно золотой кубок, и стала пить кровь! Убитая курица еще трепыхалась, а ваша мама пила ее кровь! Она была неподражаема, великолепна. Клеопатра! Эльфийская королева! Вот кем была ваша мама на арене гиковского шатра.

– На ее представления публика валила валом. Мы построили еще больше зрительских трибун, перевели ее в самый большой шатер на тысячу сто зрительских мест, и там всегда был аншлаг.

– Было забавно, – улыбалась Лил. – Но я знала, что это все-таки не мое истинное призвание.

– Да. – Тут папа вдруг умолкал и хмурился, глядя на свои руки.

Чувствуя, что папино настроение поговорить иссякает, один из нас, из детей, обращался к маме:

– А что заставило тебя уйти?

Она вздыхала, смотрела на папу из-под тонких ниточек-бровей, потом опускала взгляд на пол, где мы сидели,

сбившись в кучу, и тихо произносила:

– Я с детства мечтала летать. В Абилине к цирку присоединились воздушные акробаты, итальянцы, целое семейство, и я упростила их научить меня. – Теперь она обращалась уже не к нам, а только к папе: – Знаешь, Ал, если бы я тогда не упала и не поломалась, ты, наверное, так и не решился бы сделать мне предложение. Где бы мы сейчас были, если бы я тогда не сорвалась?

Папа кивал:

– Да, да, но я же поставил тебя на ноги, в прямом смысле слова, ведь правда?

Но его лицо застывало, улыбка гасла, а взгляд устремлялся к афише на раздвижной двери в их с мамой спальню. Старая посеребренная бумага, очень дорогая, а на ней – наша мама с ее ослепительной улыбкой и ладной, точеной фигурой, усеянной блестками, стоит на трапеции под куполом цирка, и поднятые вверх руки в красных перчатках по локоть касаются надписи, выложенной из звезд: «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛИЛ».

Папу звали Алоизий Биневски. Он вырос в бродячем цирке, принадлежавшем его отцу и называвшемся «Фабьюлон Биневски». Папе было двадцать четыре года, когда дедушка умер и цирк перешел в его руки. Ал бережно водрузил серебряную урну с прахом отца на капот грузовика с передвижным генератором, питавшим энергией маленький парк

развлечений при цирке. Старик столько лет путешествовал с цирком, что было бы несправедливо оставлять его прах в каком-нибудь стационарном склепе.

Времена были тяжелые, и – вовсе не по вине юного Ала – дела у цирка ухудшились. Через пять лет после смерти дедушки когда-то преуспевавшее предприятие пришло в упадок. Тяжкой ношей для цирка был стареющий лев, который с завидным упорством грыз прутья клетки и постоянно ломал дорожные вставные зубы. Толстая дама, чье питание было отдельно оговорено в контракте, требовала прибавки к жалованью на продуктовый прожиточный минимум. Плюс к тому все семейство эротоманов-зоофилов отбыло в неизвестном направлении под покровом ночи, прихватив с собой датского дога, осла и козу.

Вскоре и толстая дама расторгла контракт и устроилась моделью в журнале «Любителям попышнее». Папа остался с уцененным огнеглотателем на солярке и перспективой надолго застрять без единого цента в трейлерном парке под Форт-Лодердейлом.

Ал был типичным янки, самостоятельным и независимым, и в тот кризисный период его предприимчивость и гениальность проявили себя в полной мере. Он решил породить свое собственное шоу уродцев.

Моя мама, Лиллиан Хинчклифф, происходила из утонченной аристократической семьи из самой изысканной части Бостона, однако отвергла свое наследие и сбежала с цир-

ком, мечтая стать воздушной гимнасткой. В девятнадцать лет уже поздновато учиться летать, Лиллиан упала, сломала изящный носик и ключицы. Больше она не решалась подняться под купол, но не утратила страсти к арене и балаганным огням. Именно эта страсть и подвигла ее на то, чтобы ревностно поддержать замысел Ала. Лиллиан была готова на все, чтобы возродить интерес публики к цирку. К тому же в ней с детства укоренилась идея наследственной уверенности в завтрашнем дне. Как однажды она сказала и говорила не раз: «Лучший подарок, который родители могут сделать своим детям – дать им врожденную способность зарабатывать деньги, просто будучи теми, кто они есть».

Изобретательная пара приступила к экспериментам с запрещенными и рецептурными препаратами, инсектицидами и в конечном итоге – с радиоактивными изотопами. По ходу дела у мамы развилась комплексная зависимость от самых разных лекарств, но ее это не огорчало. Полностью полагаясь на папу, чья находчивость обеспечивала ей средства к существованию, Лил воспринимала свою зависимость как незначительный побочный эффект их с папой творческого сотрудничества.

Их первенцем стал мой брат Артуро, также известный как Водяной мальчик. У него не было рук и ног: кисти и стопы росли прямо из туловища наподобие тюленьих ласт. Его научили плавать еще в младенчестве, и он выступал перед публикой голышом, в большом баке с прозрачными, как у аква-

риума, стенками. В возрасте трех-четырёх лет Арти развлекался такой проделкой: подплывал вплотную к стеклянной стенке, тарасил глаза, закрывал и открывал рот, как речной окунь, а потом разворачивался и плыл прочь, являя почтеннейшей публике колбаску какашек, вылезающую из его маленькой мускулистой попки. Позднее Ал и Лил смеялись над этой выходкой, но тогда им было не до смеха. Сыновние проказы приводили их в ужас, и чистить бак приходилось значительно чаще, чем предполагалось вначале. Годы шли, Арти облачился в плавки и приобрел более утонченные манеры, хотя о нем говорили – и в этих словах была доля правды, – что его отношение к публике, в сущности, не изменилось.

Мои сестры Электра и Ифигения появились на свет, когда Артуро было два года, и буквально с рождения начали собирать публику. Они были сиамскими близнецами, сросшимися в талии, с одной парой бедер и ног на двоих. Обычно они ходили, сидели и спали в обнимку. Они могли смотреть прямо вперед, поворачиваясь так, что плечо одной перекрывало плечо другой. Они были красавицами: стройные, гибкие, большеглазые. Они учились играть на фортепьяно и с ранних лет выступали дуэтом. Говорили, что их музыкальные композиции для четырех рук произвели революцию в додекафонии.

Я родилась третьей, после близняшек. Папа не жалел никаких денег на эти эксперименты. Когда мама меня зачинала и все время, пока носила, она принимала в изрядных дозах

кокаин, амфетамины и мышьяк. Я стала горьким разочарованием, родившись с такими банальными уродствами. Мой альбинизм – самый обыкновенный, розовоглазая разновидность, а горб, хоть и заметный, не поражает ни размером, ни формой, как иные горбы. Я получилась слишком заурядной, чтобы делать хорошие сборы, сопоставимые с теми, что делали сестры и брат. И все же родители заметили мой сильный голос и решили, что из меня может выйти неплохой зазывала и ведущий программы. Лысая альбиночка-горбуня казалась вполне подходящей кандидатурой для заманивания публики на представления своих более одаренных сестер и братьев. К моему третьему дню рождения стало понятно, что я буду карлицей, это явилось приятным сюрпризом для мамы с папой и повысило мою ценность в их глазах. Сколько я себя помню, я всегда спала во встроенном шкафчике под кухонной раковиной в нашем жилом прицепе, и со временем у меня набралась целая коллекция экстравагантных темных очков, защищавших мои чувствительные глаза.

Несмотря на дорогую радиевую диету, применявшуюся при проектировании моего младшего брата Фортунато, он родился совершенно нормальным с виду. Это так огорчило моих предприимчивых родителей, что они тут же решили оставить его под покровом ночи у дверей закрытой автомастерской, проездом через Грин-Ривер, штат Вайоминг. На самом деле, папа уже припарковал фургончик и вышел наружу, чтобы помочь маме выгрузить картонную коробку с

младенцем и оставить ее где-нибудь на тротуаре, в безопасном месте. И вот тут двухнедельный малыш устоял на нашу маму мутными глазенками и проявил свои таланты во всей красе, обнаружив себя вовсе не родительской неудачей, а, наоборот, их шедевром. Да, это была настоящая удача, и брата называли Фортунато. По ряду причин мы его звали Цыпой, всегда.

– Папа, – говорила Ифи.

– Да, – говорила Элли. Они вставали за папиным креслом, в четыре руки обнимали его за шею, два лица в обрамлении гладких черных волос смотрели на него с двух сторон.

– Что вам, девчонки? – Он смеялся, откладывая журнал в сторону.

– Расскажи, как ты нас придумал, – просили они.

Я прислонялась к его колену и смотрела в его доброе, грубоватое лицо.

– Да, папа, пожалуйста. Расскажи нам про Розовый сад.

Папа сопел, отнекивался и дразнился, а мы хором упрашивали его. В конце концов Арти забирался к нему на колени, а Цыпа – на колени к маме, я прижималась к плечу Лил, а Элли и Ифи по-турецки усаживались на ковре, опираясь о пол четырьмя руками, и отец смеялся, начиная свой рассказ.

– Это было в Орегоне, в Портленде, который еще называют Городом Роз, хотя к исполнению своего плана я приступил годом позднее, когда мы застряли в Лодердейле.

В тот день ему было как-то особенно беспокойно, мысли о загибавшемся цирке не выходили из головы. Он поехал в парк на холме, бросил машину и решил прогуляться пешком.

– С того холма открывался потрясающий вид. И там был большой розовый сад с аллеями, фонтанами, арками, и шпалерами, и извилистыми дорожками, замощенными кирпичом. – Присев на ступеньку лестницы, ведущей с одной террасы на другую, папа тупо уставился на ближайшие к нему экспериментальные розы. – Это был испытательный сад, и у роз были целенаправленно созданные расцветки. Полосатые розы, слоистые розы. Розы двух разных цветов, снаружи на лепестках – один цвет, а изнутри – другой. Я тогда злился на Марибель. Совершенно безмозглая курица, но она долго у нас проработала. Пыталась вытребовать себе прибавку, а у меня и так не было ни гроша.

Глядя на розы, он размышлял, что они странные, необычные, но очень красивые, их так и задумали – необычными, и тем они и ценны.

– И меня вдруг осенило! – Отец понял, что детей тоже можно целенаправленно сформировать. – И я подумал: «Вот он, розовый сад, стоящий человеческого интереса!»

Мы, дети, улыбались и обнимали его, а он улыбался и отправлял близняшек в буфетный киоск за кастрюлькой горячего какао, а меня – за попкорном, потому что рыжеволосые девчонки в любом случае выбросят все, что останется

нераспроданным после закрытия. И мы все сидели в теплой уютной кабине нашего фургона, ели попкорн, пили какао и ощущали себя настоящими папиными розами.

Глава 2

Нынешние записки: приятности от змейки

Сейчас Хрустальная Лил прижимает телефонную трубку к своей обвисшей плоской груди и кричит в сторону лестницы: «Сорок первая!» – подразумевая, что жильцу из сорок первой квартиры, прыщавому рыжеволосому бенедиктинцу-расстриге снова звонят, и ему надо бежать вниз по лестнице со всех ног, чтобы снять это докучливое бремя с ее, Лил, смятенной души. Когда Лил берет трубку, то прижимает ее покрепче к своему слуховому аппарату, включенному на полную мощность, и кричит в микрофон: «Что?! Что?! Что?!» – пока не расслышит номер. Этот номер она и выкрикивает до тех пор, пока кто-нибудь не спустится вниз по отсыревшим, заплесневелым ступенькам или пока сама Лил не устанет кричать.

Я даже не знаю, насколько она туга на ухо. Лил всегда слышит звонки телефона в холле, но, возможно, просто чувствует вибрации каблуками домашних туфель. Она не только глухая, но еще и слепая. Ее глаза за толстыми стеклами очков в розовой пластмассовой оправе кажутся мутными и огромными. Белки в расплывчатых красных разводах – как тухлые яйца.

Сорок первый с грохотом сбегает по лестнице и хватает трубку. Он постоянно общается со знакомыми из духовенства, всячески их обхаживает в надежде вернуть себе сан. Он что-то взволнованно бормочет в трубку, и Хрустальная Лил ковыляет обратно к себе в комнату. Дверь в коридор она оставляет открытой.

Ее окно выходит на тротуар перед зданием. Ее телевизор включен, звук на полную громкость. Она сидит на табурете без спинки, ощупью ищет большое увеличительное стекло, находит его на телевизоре, наклоняется ближе, почти утыкается носом в экран и водит лупой туда-сюда в тщетных попытках сфокусировать изображение среди точек. Проходя по коридору, я вижу, как серый свет, пробивающийся сквозь линзы, мерцает на ее слепом лице.

Ее называют «администратором», и это объясняет для Хрустальной Лил, почему ей не приходят счета, почему она не платит за комнату и каждый месяц на банковский счет перечисляется небольшая сумма. Лил твердо убеждена, что ей поручено собирать квартирную плату и сторожить дом. Отвечать на телефон также входит в ее обязанности.

Когда Хрустальная Лил кричит: «Двадцать первая!» – то есть номер моей квартиры, – я хватаю с крючка у двери парик из козьей шерсти, нахлобучиваю его на свою лысую черепушку и спускаюсь по лестнице, весь пролет прыгая по ступенькам на одной ноге, что убийственно для суставов, но зато маскирует мою обычную шаркающую походку. Я ме-

няю голос и говорю тоненько и пискляво, почти фальцетом. «Спасибо!» – кричу я в ее разинутый рот. У нее шишковатые десны, бледные, радужно-зеленоватые, лоснящиеся в тех местах, где были зубы. Тот же парик я надеваю, выходя из дома. Я маскируюсь, не полагаясь на слепоту Лил и ее глухоту. В конце концов, я – ее дочь. Возможно, в ней затаилось некое гормональное узнавание моих ритмов, могущее пробить даже стену глухого внутреннего отрицания, которой она отгородилась от мира.

Когда Лил кричит: «Тридцать пятая!» – я приникаю к двери и смотрю в «глазок», установленный рядом с замком. Когда «тридцать пятая» мчится вниз по ступенькам, я вижу мельком ее длинные стройные ноги, иногда сверкающие голой кожей в разрезах зеленого шелкового кимоно. Прижавшись ухом к двери, я слушаю ее сильный молодой голос: с Лил она кричит, а по телефону говорит нормально. В тридцать пятой квартире живет моя дочь, Миранда. Миранда – красивая девушка, ладная и высокая. Ей звонят каждый вечер, пока она не уйдет на работу. Миранда не маскируется от своей бабки. Она считает себя сиротой по фамилии Баркер. Сама же Хрустальная Лил наверняка представляет Миранду просто очередной расфуфыренной барышней, из тех, что разносят по комнатам неумную сексуальность, словно слизни – свой липкий след, и уже через месяц съезжают. Видимо, Лил даже не понимает, что Миранда живет здесь уже третий год. Да и откуда ей знать, что на звонки «тридцать пятой»

всегда отвечает один и тот же человек? Они с Мирандой никак не связаны. Я – их единственное связующее звено, и ни та, ни другая не знают, кто я такая. Тем более что у Миранды, в отличие от старухи, вообще нет причин помнить меня.

Это мое эгоистическое удовольствие: наблюдать, оставаясь невидимой. Им обоим не будет никакой радости, если они узнают, кто я такая на самом деле. Возможно, это убьет Лил, разбередив старую боль. Возможно, меня она возненавидит за то, что я выжила, когда все остальные ее сокровища осыпались пеплом в погребальную урну. А Миранда... я даже не знаю, что с ней будет, если она узнает, кто ее настоящая мать. Мне представляется, как ее яркая сердцевина кривится, сжимается, и тускнеет, и остается такой навсегда. Из нее получилась прекрасная сирота.

Мы все трое – Биневски, но только Лил носит эту фамилию. Для Хрустальной Лил я просто «двадцать первая». Или «Макгарк, калека из двадцать первой квартиры». Миранда более колоритна. Я слышала, как она шепчет друзьям, проходя мимо моей двери: «Карлица из двадцать первой» или «старая альбиноска-горбунья из двадцать первой».

Мне редко приходится общаться с ними. Квитанции на квартплату Лил оставляет в корзинке, выставленной в коридор рядом с ее открытой дверью, и я просто забираю их. По четвергам выношу мусор, и Лил не забивает себе этим голову.

Миранда здоровается со мной при встрече. Я молча ки-

ваю. Иногда она пытается заговорить со мной на лестнице. Я отвечаю коротко, отстраненно и стараюсь как можно быстрее сбежать к себе, и мое сердце колотится, как у грабителя.

Лил решила забыть меня, а я решила не напоминать ей о себе, но мне страшно увидеть стыд и отвращение на лице своей дочери. Это меня убьет. И вот я наблюдаю за ними и забочусь о них – втайне, словно полуночный садовник.

Лиллиан Хинчклифф-Биневски – Хрустальная Лил – худощавая и высокая. Ее увядшая грудь свисает чуть ли не до пупа, но сама Лил по-прежнему держится прямо. У нее узкое вытянутое лицо и тонкий породистый нос протестантской аристократки. Она никогда не выходит на улицу без шляпки. Чаще всего это твидовая шляпка с полями, так низко надвинутыми на глаза под розовыми очками, что Лиллиан приходится задирать голову, чтобы увидеть тот бледный свет и движение, которые она расположена разглядеть. В пальто, отделанном мехом мертвых грызунов, Лил проникает на званные завтраки, не вызывая подозрений.

Следить за ней просто. Ее высокая бостонская фигура выделяется в толпе, перемещаясь от одной точки контакта к другой. Она мнительна и бесстрашна, а ее продвижение внушает тревогу. Проходя мимо любого вертикально стоящего предмета, Лил непременно схватится за него и ощупывает, чтобы убедиться, что это такое. Телефонные столбы, дорожные знаки – Лил бросается к ним и хватается, словно они сей-

час рухнут, а она не дает им упасть, потом ощупывает двумя руками и, запрокинув голову, мчится к следующей мутной прямостоящей тени, которую различают ее глаза. Точно так же она обращается и с людьми. Я видела, как Лил шла два десятка кварталов по людным полуденным улицам, как металась от одного испуганного пешехода к другому, хватала кого-то за плечо, поглаживала одной рукой, а вторую тянула вперед, норовя вцепиться в грудь следующего прохожего, оказавшегося у нее на пути. Когда кто-нибудь возмущался, огрызался, ругался или отталкивал Лил от себя, она лишь на мгновение замирала в растерянности и сразу вцеплялась в кого-то другого, используя живые тела как поручни для передвижения.

Я ковыляю следом. Она меня не замечает. Двадцать футов между нами – совершенная защита. Мне интересно наблюдать, как люди шарахаются, останавливаются и смотрят на мечущуюся старуху в ее безнадежном пути. Какой-то умник с учебником под мышкой, сам удивленный своим еле сдержанным побуждением толкнуть старую женщину только за то, что она им воспользовалась как трапецией, немного пристыженный, застыл с глупым видом и смотрит ей вслед. Потом оборачивается и видит меня, ковыляющую по улице и глядящую ему прямо в лицо. Это двойная картина его вымораживает. Моя мама, одна на улице, кажется странной, но эту странность можно списать на обычное состояние городских сумасшедших, пьяниц и попрошайек, а когда в двадца-

ти футах сзади шагаю я – это бьет наповал. Пробирает даже надутых снобов. Они возвращаются домой и говорят своим женам, что улицы Портленда просто кишат всякими ненормальными. Им грезится некая извращенная связь между маляхольной старухой и горбуньей-карлицей. Или у них появляется мысль, что мы сбежали из дурдома или в город приехал цирк.

Несколько раз в неделю, очевидно, уверенная, что она пребывает в Бостоне, Хрустальная Лил не без труда поднимается на холм, к большому дому на Виста-авеню. Она бежит вдоль кованой решетки, шарит по ней руками, что-то ищет. Потом стоит с раскрытым ртом – упругая нитка слюны, как перемычка между верхней и нижней челюстью, – стоит и чего-то ждет перед входом. Скорее всего, Лил не различает контуры мансардных окон, но машет им рукой. Иногда вцепляется в кого-нибудь из прохожих и кричит: «Я родилась в этом доме! В Розовой комнате! Мама поила нас чаем на солнечной террасе!» Когда ее пленник спасается бегством, она просто стоит и бормочет себе под нос. Лил не замечает, что георгианский особняк обернулся элитным многоквартирным домом. Она ждет, когда на улицу выйдет старый пес или старый слуга и узнает ее со слезами радости на глазах, блудную дочь, вернувшуюся домой после стольких лет. Наверное, ей грезится, что ее проведут в дом, и там встретит и приласкает мама, и ее уложат в девственную постель, и уютно подоткнут одеяло. Но из дома выходят лишь

худошавые молодые профессионалы и ловко обходят Хрустальную Лил, возникшую у них на пути. Вскоре она плетется назад, в свою комнатушку на Карни-стрит.

Дверь в комнату распахнута настежь, Хрустальная Лил сидит перед телевизором, держа на коленях кастрюлю. У ее ног стоит большой бумажный пакет. Она достает из пакета стручки зеленой фасоли, ломает их пополам и бросает в кастрюлю. Я удивляюсь, откуда она взяла эту фасоль.

Лиллиан в супермаркете, испуганная и сердитая. Ее длинные руки шарят по полкам, сбрасывают жестянки, наконец хватают картонную коробку, вцепляются в безвинную покупательницу. Лиллиан тычет коробкой женщине в лицо и кричит: «Это что?! Скажите мне, это что?!» Она кричит и кричит, пока женщина не отвечает с жалостливым раздражением: «Кукурузные хлопья!» – а потом вырывается и поспешно уходит прочь.

Жарким летом, когда вся городская грязь поднимается в душный воздух, Лил открывает окно и выставляет на внешний подоконник два горшка с чахлой геранью. В тот же день, после обеда, Хрустальная Лил выбегает на улицу, мечется по тротуару, хватая прохожих за шкурку и надрывно кричит: «Воры! Мерзавцы! Вы украли мои цветы! Воры! Мерзавцы!» Горшки, понятное дело, исчезли. Осталось только

два бледных комочка земли.

Звон ключей. Пронзительный голос в коридоре. Лиллиан разносит почту. Она должна оставлять корреспонденцию на столике в нижнем холле. В крайнем случае – подсовывать конверты под двери жильцов. Но иногда она пользуется предлогом и заходит в чужие квартиры.

Однажды Миранда, предававшаяся бурной страсти со своим кавалером прямо на полу, не ответила на стук Лил. Влюбленные затихли и замерли под простыней в удушливой летней жаре и были потрясены до глубины души, когда дверь открылась и Хрустальная Лил вошла внутрь, держась за стены и хватаясь за мебель, медленно приближаясь к простыне, выпирающей белым холмом посреди комнаты. И вот она уже рядом, щупает края простыни, чуть-чуть не задев переплетенные ноги любовников, что лежат, затаив дыхание, и наблюдают за ее ненасытными слепыми исследованиями. Совершив круг по комнате, Лил опять нашла стол, положила на него почту и вышла, закрыв и заперев за собой дверь. Миранда рассказала мне об этом случае, когда пыталась подружиться со мной в коридоре и уговорить меня ей позировать.

Похоже, Миранду неудержимо влекут физические пороки. Она несколько раз заманивала к себе толстяка из газетного киоска на углу, чтобы он ей позировал. У нее нет никаких очевидных причин для подобного интереса, пусть даже она зарабатывает на жизнь своим собственным малень-

ким отклонением. Миранда стройная, ладная, длинноногая. Возможно, какие-то смутные впечатления из детства отложились в ее подсознании и возбуждают в ней эту странную тягу. Или, возможно, она у нее в крови – склонность к тому, что в мире принято называть уродством.

Следить за Мирандой на улице сложно. Она, как и Хрустальная Лил, выделяется в толпе, но не мечется из стороны в сторону. И она замечает, что происходит вокруг, а меня не заметить сложно. Обычно я теряю ее через два-три квартала. Либо Миранда отрывается от меня, задыхающейся в пыли, либо мне приходится нырять в подворотни, прячась от ее внимательных глаз, когда она оборачивается. За все три года, что Миранда живет в нашем доме, мне всего лишь два раза удалось проследить за ней всю дорогу до ее работы.

Однажды вечером, выйдя с работы на радиостанции, где задержалась позднее обычного, я увидела на перекрестке Миранду. Она была очень нарядно одета. Темно-зеленое короткое платье и подходящий к нему жакет. На занятия в художественном колледже она одевается просто, и меня поразила разница между той Мирандой и этой. Она была сильно накрашена и шла скованной, деревянной походной на непривычно высоких каблуках, в открытых босоножках, державшихся на ногах только на тоненьких золотистых цепочках. Я двинулась следом за ней. Конечно, я не сомневалась, что

скоро ее потеряю, но мне нравилось наблюдать, как на нее смотрят мужчины. Наверное, Миранда шла на работу. Я проследила за ней до входа в ночной клуб «Зеркальный дом». На каблуках Миранда ходила медленнее. Я видела, как она забрала у швейцара какой-то конверт. Миранда вошла через служебный вход, а я проскользнула в сам клуб.

Весь потолок был выложен зеркальной мозаикой. Ковры и стены – темных тонов. Маленькие островки света от настольных ламп дробились и умножались в бесчисленных отражениях. Огромный зал был переполнен. Среди посетителей имелось несколько женщин, но в основном это были мужчины, несколько сотен, все столики заняты, люди толпились в проходах, держа бокалы в руках.

Я направилась в самый дальний угол, примостилась на стуле у стены и встала, когда началось представление. Первой вышла худая девчонка, кожа да кости, причем кости заметно выпирали из-под натянутой кожи. Она порхала по сцене, облаченная во что-то воздушное и прозрачное, постепенно расстегивая все пуговики. Под конец своего выступления девушка вынула гребешок из волос, собранных в тугий узел, и волосы упали искрящейся белой волной. Она тряхнула головой и повернулась спиной к зрителям, чтобы им было видно, что волосы свисают до самого пола. Одобрительный свист из зала. Потом вновь повернулась лицом к залу и расстегнула застежку, державшую трусики-стринги. Ее лобковые волосы – такие же светлые и густые, как волосы на голо-

ве, — осыпались вниз белым облаком, до самых колен, сплетаясь с волосами, струящимися с головы. Я подумала, что ей, наверное, приходится удалять волосы со всех остальных частей тела. Лысый мужик нараспев говорил в микрофон: «Да, ребята, они настоящие, ну-ка, дерни как следует, Дениз. Я пригласил бы кого-нибудь из зала, чтобы вы сами подергали и убедились, что все по-честному, парни, но это запрещено законом, и вы сами должны понимать, что пара-тройка охотников за сувенирами — и бедняжке Дениз будет нечего вам показать». Девушка вращала бедрами, волосы колыхались из стороны в сторону. «Ну что, джентльмены? Вам понравилось это диво?» Дениз, улыбаясь, ушла со сцены под бурные аплодисменты.

Полетта, претранссексуал, была статной красавицей с идеальным бюстом. Ее выступление шло на ура, пока она не сняла с себя трусики, явив публике скукоженный пенис и мошонку. Неодобрительный гул заглушил объявление лысого мужика, который пытался объяснить, что в следующем месяце Полетта едет в Танжер и вернется уже в декабре настоящей девчонкой.

Миранда выступала последней. Музыканты заиграли что-то чувственное и скрипучее. Она вышла на сцену в длинном платье из белого атласа. Моя голубка. Я впилась в нее взглядом, мои глаза жгло, жаркое пламя мчалось по зрительным нервам в мозг. Мужчины, сидевшие передо мной, вскочили, наклонились вперед, принялись хлопать друг друга по пле-

чам и вопить тонкими, пронзительными голосами, словно фермеры, созывающие свиней. Забираясь с ногами на стол, чтобы лучше видеть, я наступила себе на пальцы. Длинные руки Миранды были подняты, волосы переливались бликами света. Молодая блондинка в серебристом платье за столиком прямо передо мной сверлила злым взглядом спины мужчин, которые прежде сидели с ней, а теперь все повернулись к сцене, где танцевала Миранда. Миранда с ее высокими скулами Биневски, с ее монгольскими глазами. Миранда с сочными полными губами, плясунья на стройных ногах. Меня накрыло ледящей волной радости: моя дочь. Она была хороша. Не великолепна, но хороша. Порода проявляется всегда. И все смотрели на нее не отрываясь, мечтая затащить ее в койку.

Электра и Ифигения были мощными исполнительницами, они держали зал на пределе, сжимали сердце, сминали мозг и, бывало, на полчаса повергали в молчание многотысячную аудиторию. А на представлениях Артуро зрители выворачивали наизнанку всю душу и самозабвенно вливали себя в водоем его воли. Хотя я – мать Миранды, я видела, что ее представление, изящный стриптиз с тщательно выверенными движениями, не идет ни в какое сравнение с мощью и мастерством, которые мне довелось наблюдать в исполнении всех остальных моих самых любимых людей. Но мне было странно и непривычно наблюдать за людьми, наблюдающими за ней. Они считали ее красивой, потому что им нрави-

лось ее тело, и им хотелось ей вдуть. Их тела тянулись к ней в простом, безотчетном влечении, наполняющем каждую клеточку их естества.

Миранда уже разделась до трусиков-стрингов с пышной кружевной оборкой сзади. Повернувшись спиной к залу, она смотрела через плечо и медленно виляла задницей, дразня и завлекая. Хмурая блондинка сидела, подперев щеку рукой. Мужчины, наблюдавшие за представлением, вопили, кричали и исходили слюной. Я затаила дыхание, моргнула, и Миранда стянула оборку вниз, расстегнула застёжки на трусиках и сорвала их с себя, продолжая покачивать задницей. Она запрокинула голову, и мне было видно, как Миранда рассмеялась, когда перед публикой предстал тоненький, скрученный в кольцо хвостик, выраставший из копчика прямо над ее круглыми ягодицами.

Во второй раз – и последний – я просто двинулась за Мирандой из дома на Карни-стрит. Я вышла через пятнадцать секунд после нее и легко проследила за ней под сильным дождем. Она ни разу не выглянула из-под зонта, пока не добралась до служебного входа в «Зеркальный дом». Я оставила зонт на стеклянной стойке и, стараясь не привлекать к себе внимания, проскользнула в зал. Продвигаясь по стенке, приблизилась к сцене с пока закрытым занавесом.

Перед сценой царил суматоха. Крупный лысый мужчина в смокинге отдавал распоряжения строгим шепотом. Из-за

моего роста я не смогла разглядеть, с кем он говорил.

Внезапно он вскочил на сцену. Раздалась барабанная дробь. Луч прожектора высветил лысого в полумраке. Зал взорвался смехом и свистом, слышались редкие аплодисменты.

– Джентльмены и балагуры! Милые дамы! – Лысый засунул микрофон себе между ног и потыкал пальцем в серебристую кнопку. В зале раздалась смешки. – Сегодня вторник, и «Зеркальный дом» с гордостью представляет наше специальное вечернее шоу! Кастинг моделей топлес для работы в «Зеркальном доме»! Любой зритель может подняться на сцену и поучаствовать в пробах. Под музыку оркестра «Зеркального дома»! Как настоящий артист! Каждый участник гарантированно получает приз в десять долларов! Леди и джентльмены, выходите на сцену, проявляйте свои таланты! А вот и наши участники!

Пять человек, обнаженных до пояса, вскарабкались на сцену. Зрители встретили их приветственными криками, свистом и смехом. Участники кастинга выстроились в линию лицом к залу. Меня прошиб пот. Ближе всех ко мне стояла тучная женщина, ее блузка болталась вокруг пояса юбки. Толстуха жмурилась в зал, голая грудь, необъятная и тяжелая, свисала на живот в основательных валиках жира. Такие же складки жира красовались у нее на руках. Вдруг застеснявшись, она скрестила руки на груди, но потом опустила их.

Двое мужчин средних лет вышли на сцену в одинаковых

красных джинсах с широкими кожаными ремнями, которыми правая нога одного была связана с левой ногой другого. Они обнимали друг друга за плечи тонкими бледными руками, над их редеющими волосами колыхались одинаковые плюмажи из страусиных перьев. Помятые лица под умелым восточным макияжем с применением красной охры были расслаблены и безмятежны, подрисованные соски сверкали красным гелем.

Толстый парень не побоялся выйти практически голым, в одной блескучей «ракушке». Его маленькие глазки терялись на жирном, одутловатом лице. Собутыльники, сидящие за столиками перед сценой, хором скандировали его имя.

Испуганная молодая девчонка заливалась румянцем под неумело сплетенной ажурной косой, губы сочно покрашены, полные страха глаза густо подведены черным, маленькие крепкие грудки стоят торчком на худом тельце, все ребра наружу. Девочка вышла на сцену в вызывающе крошечных трусиках и высоких сапогах с отворотами, но она была трезвой в отличие от всех остальных. Она, наверное, считала, что проходит кастинг, чтобы получить здесь работу.

Прямо-таки травля медведя. Музыканты наяривают всюю. Лысый конференсье колотит руками по краю сцены и ревет в микрофон, пока участники действия приплясывают и трясутся в мечущемся свете прожекторов. Я подбираюсь ближе и кладу подбородок на край сцены, наблюдая, как на каждом третьем такте в волне плоти проглядывает расплыв-

чатый мутный сосок, когда тучная женщина выдвигает плечи вперед, и ее грудь подскакивает, отрываясь от рыхлого складчатого живота.

Молодая девчонка пытается произвести впечатление опытной профессионалки в хаосе красных вихляющих бедер, колышущихся страусиных перьев и волосяных зарослей на груди толстого парня. Она растерянна и напугана. Понимает, что пришла не в то место, совсем не в то.

Грохот музыки оглушает, мне приходится шуриться, чтобы хоть что-нибудь разглядеть в этом безумном свете. А потом голове вдруг становится холодно, и чья-то рука пылливо ощупывает мой горб.

– Вы тут кое-кого забыли! – раздает крик.

Мой парик болтается в чей-то машущей руке, высоко над головой. С меня срывают темные очки, и свет обжигает глаза.

Лысый конференсье смотрит мне прямо в лицо, чьи-то большие руки поднимают меня на сцену, я раскрываю рот, однако не издаю ни звука. Музыка бьет мне в лицо, я извиваюсь, пытаюсь вырваться, но меня держат крепко. Громкий крик – многоголосый, – и лысый подходит ко мне, улыбаясь, а дряблая, в складках жира толстуха хватает меня за плаш, начинает расстегивать пуговицы и кричит: «Малявка с розовыми глазами!» Те двое в красных штанах ковыляют прямо на меня, их промежности маячат на уровне моих глаз, тяжелые пряжки ремней, скрепляющих их ноги, грозят задеть меня по лицу. С меня уже стянули плащ, моя блузка, сшитая

на заказ (сзади глубокие выточки под горб, а перед – плоский и ровный, свисающий до колен), рвется, пуговицы летят во все стороны и катятся по сцене – беззвучно, потому что в этом громадном грохоте нет места для маленьких пуговиц, ударяющихся о пол.

Они уже добрались до моей грудной сбруи из толстых эластичных лент, проходящих на спине над и под горбом и держащих плотную повязку на моей чахлой груди с сероватыми сосками. Лысый конференсье говорит мне что-то без микрофона, конфиденциально, я чувствую, как движутся его губы, чувствую его жаркое влажное дыхание у себя в ухе, но не слышу ни слова, а сбруя снимается, царапает по горбу, скребет по ушам, ослепляет меня на секунду. Я пинаюсь, когда меня поднимают, чтобы стянуть с меня юбку на поясе-резинке, а потом поднимают еще выше, к желтому свету прожектора, и ставят на место. Мои туфли стучаются о пол, белая нижняя юбка задирается до подгибающихся колен.

Я стою одна в свете прожекторов, большие тела отступили прочь. Молоденькая студентка, потрясенная, с отвисшей челюстью, все еще двигается в такт музыке. Она пятится от меня, ее тело еще не успело переключиться, оно танцует, пока у нее в голове мечутся самые разные мысли: кто я такая, что они со мной сделали, и не подсадная ли я утка? Зрители в зале вскочили на ноги, зрители в зале стучат по столам. Лютый смех, громкая музыка, хотя не такая уж громкая, на самом деле. Я поднимаю над головой тонкие руки, трясусь непомер-

но большими кистями, неуклюже раскачиваюсь в полуприседе, мои колени сгибаются в танце, как его понимает мое тело. Я покачиваю горбом на потеху почтеннейшей публике, свет согревает мою лысую черепушку и разъедает мои беззащитные глаза. Я топочу маленькими ногами в огромных туфлях и горжусь собой, мои узкие груди-стрелы колышутся над коленями, а тучная женщина, стоя на моем плаще, смотрит во все глаза, и слюни размазаны у нее по щеке. Толстый парень в блескучих стрингах бьет себя по невидимым гени- талиям и смеется, из зала доносятся крики: «Боже! Она настоящая!» Мне приятно крутить горбом в теплом дрожащем воздухе, пот стекает с моей голой головы прямо в оголенные глаза, жжет их пронзительным блеском. Упоение колышущегося горба пропитывает пространство, накрывает и красные джинсы, и волосатые животы, и все вокруг, пока я топчусь на своей рубашке, лишившейся пуговиц, скольжу по спутанной эластичной сбруе и широко раскрываю почти ослепшие глаза, чтобы все видели: они действительно розовые – настоящие глаза альбиноса под веками без единой реснички, – и мне это нравится. Как я горда – я, танцующая перед залом, полным ошеломленных глаз, которые смотрят и смотрят, не в силах оторвать взгляд, потому что я – это я. Эти бедные зайчики у меня за спиной, все притихли. Я их одолела. Они думали использовать меня, думали выставить на посмешище, но я победила их в силу своей природы, потому что подлинными уродцами не становятся. Ими рождаются.

Завершить это буйство достойно было нельзя просто по определению. Музыканты прекратили играть, лысый проревел микрофон: «Поблагодарим наших участников». Поднялась волна свиста. Мы подобрали свою одежду и, прижимая ее к груди, спустились со сцены. Разумеется, никакой раздевалки там не было. Уборные располагались на другом конце зала, так что мы сбились в кучу прямо перед сценой и принялись неуклюже натягивать на себя одежду. Я надела блузку наизнанку, как потом выяснилось, набросила плащ, быстро нахлобучила на голову парик и водрузила на нос темные очки. Грудную сбрую пришлось запихать в карман.

Лысый раздавал пятидолларовые бумажки, словно прогорклые печенюшки. Он вручил мне две бумажки. Я и так-то уже сгорала от стыда, и эти несчастные десять долларов подлили масла в огонь. Я давно не краснела. Наверное, после Артуро – ни разу. Но сейчас кровь прилила к щекам и опалила их изнутри.

– Как вас зовут? Вероятно, мы сможем договориться, чтобы вы приходили на наши кастинги на регулярной основе? У вас хороший потенциал. Ваше участие оживит номер. Можно будет придумать, как все обставить. Мы немного поднимем вам гонорар, например, по двадцать долларов за каждый выход. Мы проводим два кастинга за вечер, в перерывах между номерами основной программы. Можете легко зарабатывать по сороковнику в день.

Он был мил, обходителен и нисколько не сомневался, что его предложение меня обрадует. Парик никак не налезал, и я не могла сообразить почему. Я все пыталась его натянуть, чтобы он сел, как положено, и только потом поняла, что надеваю его задом наперед. Я развернула парик, развернулась сама и направилась к выходу. Протискиваясь сквозь толпу, я включила в мозгу «белый шум», чтобы не слышать, что говорят вокруг. «Беги и прячься скорее», – думала я, мчась по улице.

Всю ночь я ходила по комнате из угла в угол. Я не могла спать из-за страха за папу, за Артуро и из-за собственной ужасающей гордости.

Глава 3

Нынешние записки: таяние изнутри, ныряние в чайные чашки с тринадцатого этажа и другие волнующие переживания

Когда я возвращаюсь с работы, Миранда стоит в холле и разговаривает по телефону. Одета в свое зеленое кимоно, она прислонилась к стене, подогнув одну ногу. Миранда только что вымыла волосы, на голове у нее – тюрбан из полотенца. Когда я вхожу, она вешает трубку.

– Привет. Есть у вас время зайти выпить чаю?

– Нет. Спасибо.

Миранда учится в художественном колледже. В будущем она собирается иллюстрировать медицинские книги. Она хочет, чтобы я позировала ей для зарисовок. Я никогда не принимаю ее приглашения на чай. Я иду к лестнице, неловко прижимая к груди портфель с книгами и бумагами. Миранда хмурится, поджав губы.

Я ставлю ногу на первую ступеньку, берусь за перила и не могу удержаться – останавливаюсь и оборачиваюсь к Миранде. Она смотрит на меня, прищурившись. Горло сжимается, в голове звенит тревожный звоночек: Артуро смотрел

точно так же. И глаза у него были точно такие же, длинные, миндалевидные, чуть раскосые, хотя, разумеется, у Артуро не было ресниц и бровей, как у Миранды.

Я улыбаюсь ей слабой улыбкой – она все знает, или это просто обычная досада от того, что я снова не приняла ее приглашения? – и иду вверх по лестнице, чувствуя, как Миранда смотрит мне в спину.

Олимпия Биневски, она же Хоппи Макгарк, диктор-чтец на радио, склонилась над книгой в стеклянной кабинке в студии звукозаписи на Радио-KBNK, Портленд. Мягкий голос, которым она зарабатывает на жизнь уже не один десяток лет, льется в губчатое ухо микрофона и преобразуется в безмолвные импульсы-волны, расходящиеся на сотни миль. Она полностью погружена в драматические перипетии неоднозначного произведения, относимого многими к новой классике, под названием «Мощный провал».

В книге рассказывается о том, как души трех физиков-теоретиков переродились (после трагической гибели в ходе поисков демонического кота Шредингера) в телах трех лобковых вшей, обитающих в промежности одного на редкость тупого полицейского из Лос-Анджелеса.

Время от времени Макгарк отрывает глаза от книги и смотрит на звукорежиссера с той стороны звуконепроницаемого стекла. Звукорежиссер наблюдает за временем. Он сигнализирует, что до конца – две минуты, и Макгарк нагне-

тает напряжение. Музыка, сопровождающая ее чтение, становится громче, и Макгарк завершает программу: «До завтра...» Откинувшись в кресле, она разминает затекшую шею и смотрит сквозь стекло.

Миранда улыбается ей из режиссерской кабинки. Макгарк роняет книгу на пол, а не в портфель. Режиссер крутит ручки на пульте, его губы как будто парализовало в улыбке, а взгляд намертво впился в грудь Миранды.

Миранда машет рукой, и Хоппи Макгарк кивает, забыв изобразить на лице хоть какое-нибудь выражение.

Я, Хоппи-Олимпия, невидимая мама, сижу в оцепенении и наблюдаю, как режиссер беседует с Мирандой. Он изображает, как будто печатает на машинке, и указывает на меня. Миранда кивает. Режиссер оборачивается ко мне, шевеля двумя пальцами в воздухе, как шагающими ногами. Они с Мирандой выходят из студии.

Режиссер устраивает для Миранды небольшую экскурсию по радиостанции, пока я печатаю платежку за сегодняшнюю программу. Голова взмокла от пота. В голове – пустота, от которой меня мутит. Что случилось? Почему она здесь? Зачем она вдруг пришла на работу к соседке, которая едва отвечает на ее «Доброе утро» на лестнице? Неужели старая шлюха-монашка нарушила свое обещание и после стольких лет все же выболтала девочке правду?

Когда они возвращаются, я уже собираюсь на выход, стою в холле и застегиваю плащ. А может, у Миранды тысяча при-

чин прийти на радиостанцию, и эти причины никак не связаны со мной? Например, зашла навестить знакомых, или ищет работу, или записывает интервью в качестве приглашенной стриптизерши для «Ночного поезда». Видимо, это просто совпадение, я старею и становлюсь мнительной. Мир отнюдь не вращается вокруг меня.

– Я приглашаю вас на обед, – говорит она мне, словно это в порядке вещей. Будто мы с ней обедаем каждый день.

Я захожу в лифт и вжимаюсь в стену. Миранда шагает в лифт следом за мной и произносит:

– Большое спасибо.

Закрывающиеся двери лифта отрезают от нас застывшую улыбку звукорежиссера.

Миранда буквально ослепляет меня своей лучезарной улыбкой:

– Надеюсь, вы меня извините, что я заявила без спроса к вам на работу. Я знаю, где вы работаете, потому что слушаю вашу программу. Я узнала ваш голос с первого раза, услышав, как вы говорили с Чокнутой Лил. Я заходила к вам утром, но вас уже не было. Мне нужно с вами поговорить.

Ее слова бьют рикошетом у меня в голове. «Нужно поговорить». Столько лет, проведенных в молчании. Я собиралась – и собираюсь – присматривать за Мирандой до конца своих дней, но не говорить с ней. Сердце бешено бьется, словно сейчас выскочит через уши. Она краснеет, смущенная тем, что представляется ей сердитым взглядом за тем-

но-синими стеклами моих очков.

Двери лифта открываются, я бросаюсь наружу, пробираюсь сквозь неторопливые ноги бездельников, собравшихся в вестибюле, сквозь торопливые ноги прохожих на улице. Я чувствую, что Миранда идет за мной следом и на углу догоняет.

Шумно втянув носом в себя воздух, я смотрю в другую сторону, давая понять, что не расположена к разговору. Миранда одета в темно-зеленое, ее каблучки нетерпеливо стучат по асфальту. Нет никакой радости в том, что она идет так близко ко мне. Что ей от меня нужно?

– Может, пообедаем в гриль-баре в «Виа Венето»? Там хороший шведский стол. Мисс Макгарк?

Я не могу на нее смотреть. Я очень стараюсь, чтобы мой голос звучал не резко:

– Я никогда не обедаю.

На светофоре загорается красный, и нам приходится остановиться на островке безопасности между двумя потоками машин. Автомобили – повсюду, вонючее море машин. Миранда поймала меня на этом бетонном пяточке, загарпунила и не отпустит. Ее внешнее мягкое простодушие разом сошло на нет, она вся заострилась: ее глаза, ее голос...

– Послушайте, это не важно, что вы меня совершенно не знаете. У меня к вам два вопроса. Первый, вы должны мне позировать.

Она вся – зеленый огонь над высокими скулами Биневски.

Она твердо намерена меня уговорить. От ее пылкой решимости у меня все внутри тает. Мне хочется взять ее лицо в ладони и убрать эти странные волосы с ее высокого лба породы Биневски. Меня спасают лица за стеклами автомобилей. Никто из Биневски не позволит себе проявить слабость на глазах у почтеннейшей публики.

Напор Миранды опалает меня, прожигает насквозь, она говорит быстро-быстро, ее глаза неумолимы. Она принимает участие в конкурсе анатомического рисунка. Она уже побеждала два года подряд. И теперь жюри вряд ли присудит ей первое место, если только она не представит на конкурс нечто особенное, что-то убойное... Художественный колледж. Миранда рассказывает о художественном колледже и рассказывает не кому-то, а мне. Эти два обстоятельства меня поражают.

– В позапрошлом году я пошла в фитнес-клуб и сделала серию зарисовок одного культуриста. Технично, иллюстративно и предсказуемо. В прошлом году я ходила в анатомический театр и рисовала вскрытые трупы. Классические рисунки, полностью предсказуемые. На сей раз я должна показать нечто больше, чем хорошую технику. Мне нужно их потрясти. Чтобы их пробрало до самых печенок.

От ее горячности у меня все сжимается внутри. Это случайность? Это просто стечение обстоятельств, что она обратилась ко мне? Столько лет молчаливого наблюдения, столько лет тайной заботы. Невидимый зонтик в моей анонимной

руке. Неужели ей все известно? И теперь она пытается раскрыть меня? Проскользнуть внутрь, как вскрывающий устрицу нож? Или Миранду просто тянет ко мне в безотчетном слепом устремлении, бьющемся у нее в крови, вложенном в ее гены? На светофоре загорается зеленый.

– Вон там лавочка, на остановке. Давайте присядем.

Она проплывает мимо ревущих машин, остановившихся на перекрестке, садится на лавочку и машет рукой, приглашая меня сесть рядом. Пока я сажусь, Миранда вынимает из сумки стопку бумажных листов.

– Уменьшенные копии. Они не передают всего впечатления, но вы хотя бы поймете, что у меня все серьезно.

На верхнем листе изображен тазобедренный сустав, словно отполированный до зеркального блеска. Четкие линии производят впечатление мощи и нетерпения. На втором листе – обнаженные мышцы брюшного пресса, обозначенные размашистой, неукротимой штриховкой. Огрубелые руки, скрюченные артритом; шишковатые пальцы ног. Челюсть с содранной кожей, обнаженный портрет необъятного продавца газет из киоска на углу. Он сидит, сгорбившись, на табуретке, пухлые руки лежат на коленях, словно две квелые тыквы, его голова, похожая на располневший желудь, удивленно запрокинута вверх, насколько это позволяет отсутствие шеи. Я не понимаю эти рисунки и не понимаю, почему они так будоражат меня. Мне хочется плакать, зарыдать в голос от боли-любви. Для меня эти рисунки такие же непо-

стижимые и загадочные, как школьные табели успеваемости, которые мать-настоятельница добросовестно высылала мне почтой каждые два-три месяца. Никто из Биневски никогда не умел рисовать. У меня никогда не было своих табелей успеваемости. Но табели Миранды я сохранила, они лежат, перевязанные канцелярской резинкой, в самом большом из старых чемоданов.

Ее длинный палец стучит по обвисшей чернильной мошонке, по почти невидимому пенису продавца газет.

– Характерная особенность жировых отложений в мужском организме, – объясняет она. – Живот будто поглощает пенис от основания и дальше, в прямом смысле слова его укорачивая...

– Какая мерзость! – раздается у меня за спиной гневный голос.

– Отвали... – отвечает Миранда. Критик идет восвояси. Просто какой-то прохожий. Миранда кладет руку на мой горб, защищая меня. Указывая на линии, изображающие складчатые ягодицы, свисающие с табурета, она хихикает.

– Один из наших преподавателей говорит, что я рисую, как маньяк-убийца. Но я ненавижу мелкие штришки. Как нерешительные надрезы на запястье самоубийцы.

У меня внутри все размягчается, тает. Все эти годы, что мы не разговаривали с Мирандой, я считала ее глупенькой и недалекой, потому что она такая... почти нормальная. Все эти годы пристальных наблюдений ничему меня не научили,

и я смеюсь. Вжавшись горбом в руку Миранды, я беззвучно и слабо смеюсь, запрокинув голову, как толстяк на рисунке.

Миранда мне улыбается.

– Неплохая работа, да?

Я смеюсь и никак не могу остановиться.

– Вы очень способная. И красивая.

– Ха! – восклицает она. – Внешность обманчива. У меня хвост.

Что-то в моем лице ее задевает. Она настороженно смотрит на меня.

– Об этом я тоже хотела с вами поговорить. – Она смотрит все так же пристально. – На самом деле, это долгая история. Но если вкратце: я родилась с маленьким хвостиком, такое часто случается, но мне его не ампутировали при рождении. Он у меня до сих пор. Он небольшой, менее фута в длину. Но обычно, если кто-то рождается с хвостиком, в нем нет костей. А мой хвост – настоящий отросток спинного хребта. Вот почему я всегда ношу только юбки.

Я совершенно беспомощна, пригвождена к месту ее рукой, ее взглядом.

Наконец Миранда отводит глаза.

– Кажется, будет дождь, – произносит Миранда. Воздух тяжелый и серый. – Пойдемте домой. Вы зайдете ко мне? Я накормлю вас обедом, и буду вас рисовать, и рассказывать, и просить совета.

– Да, конечно. – Я сижу в онемении, вцепившись в ручку

портфеля.

Она поднимается, радостно машет руками.

– Хорошо.

Я готова отдать свою жизнь, лишь бы она улыбалась так, как сейчас, я готова отрезать себе все пальцы на руках и ногах, лишь бы ее раскосые глаза Биневски вечно сияли так, как сейчас. Я спрыгиваю со скамейки и ныряю в водоворот толпы, стараясь не отстать от Миранды. По-прежнему сжимаю в руке ее непонятные мне рисунки. С болью в сердце я запихиваю их в портфель. Прячу.

Мы сворачиваем на нашу улицу. Миранда семенит, чтобы мне не приходилось бежать за ней. На противоположной стороне улицы, высоко над землей, у конька крыши трехэтажного викторианского особняка, маляр на лесах наблюдает за нами. Кисть в его замершей неподвижно руке смотрит в синее небо.

Что происходит? Я ее оскверняю? Отравляю свое молчание? Уничтожаю свою анонимность? Подвешиваю топор моей подлинной личности над ее представлением о себе?

– А у вас неплохая скорость, – говорит Миранда, шагая рядом со мной. – Чуть больше двух ваших на один мой. Но... – Она издает тихий смешок, как лай лисицы в тумане. – На мой широкий.

В ответ на мой непонимающий взгляд Миранда вскидывает руки в классическом извинении Биневски.

– Шаг, – поясняет она.

Наш старый дом с крыльцом, опирающимся на тротуар, как на локтях, в кои-то веки кажется радушным и теплым. В окнах нижнего этажа, в окнах Лил, горит свет. Окно на четвертом, в сорок первой квартире, также известной как просто «чердак», тоже освещено. За его грязным стеклом скрывается бенедиктинец, в его одинокой кровати, в поединке с катехизисом. Окна Миранды, на третьем этаже, белеют над пустыми, свободными комнатами на втором. Окна моей квартиры на втором этаже выходят во двор, с улицы их не видно. Из моих окон открывается вид на пропыленную заднюю стену складского ангара. Прямо под моими окнами – маленький зеленый прудик, плоская, залитая гудроном крыша гаражного бокса, залитая водой и поросшая мхом из-за засорившихся сточных труб.

Мы входим в дом. Лил стоит в коридоре у двери своей комнаты. Ее невидящие глаза смотрят на нас, смотрят на наши тени.

– Это кто? – визгливо кричит она.

– Тридцать первая! – кричит Миранда в ответ. А потом еще громче: – Тридцать первая! – И Лил отступает, давая нам пройти.

Миранда все говорит и говорит, и мы минуем второй этаж. Я готова запаниковать и все отменить, скомканно извиниться, сбежать к себе и захлопнуть дверь перед ее носом. Она говорит, что нам надо почаще вместе гулять, что она часто танцует с невысокими людьми и без труда приспособли-

вается к их коротким шагам.

В последний раз я заходила в квартиру Миранды три года назад. Перед самым ее приездом, когда она сошла с поезда, все еще пахнувшая монастырской школой, я сделала там генеральную уборку. Несколько дней я отдраивала потолок, чистила зеленые обои в больших белых розах, похожих на эмбрионы инопланетян. Задолго до приезда Миранды это уже была ее квартира. Когда я впервые пришла в этот дом вместе с брезгливо-учтивым риелтором, то сразу решила, что эта квартира с огромной гостиной, двадцать на сорок футов, и высокими окнами в ряд станет квартирой Миранды. Спальня была самой обыкновенной. Ванная комната без окон вызвала у меня приступ клаустрофобии. Кухня казалась родной и знакомой, будто ее хирургически пересадили из нашего жилого прицепа.

Я мыла окна, скребла полы, вычищала бессчетные встроенные шкафы. Выбивала и пылесосила громоздкую мягкую мебель. Нормальный дом для почти нормальной девушки.

Она такая высокая, думала я, ей будет уютно в комнатах с высокими потолками. Миранде нужно больше простора, думала я, ей нужно больше пространства.

В день ее приезда я все утро не отходила от дверного «глазка». Она приехала ближе к полудню, в компании двух подружек из школы. Они поднялись по лестнице, мимо моей двери, за которой я затаила дыхание, приникнув к «глазку».

– Квартира досталась тебе бесплатно. Какая разница, как

она выглядит? – донесся юный голос. Я прижалась ухом к двери, пытаюсь понять, который из голосов – Миранды. Если ей не понравится дом, здешние запахи, здешняя вечная сырость, что мне делать, как быть?

Багажа у нее было немного. Они втроем занесли все ее вещи в один заход. Все, что Миранда нажила за восемнадцать лет в этом мире. Через двадцать минут они все вместе спустились вниз и отправились подавать документы в художественный колледж.

И вот сейчас, в мутно-темном коридоре, Миранда отпирает дверь, толкает ее, в коридор выливается мягкий свет и накрывает меня с головой. Тень Миранды скользит по мне, когда она входит внутрь и растворяется в белом свечении.

В комнате очень светло. Свет, проникая сквозь белые тюлевые занавески на четырех высоких окнах, и сам кажется кружевным и прохладным на серых стенах, свет мерцает на темном дощатом полу.

Миранда бросает сумку, роняет зеленый плащ на пол, сбрасывает туфли на высоком каблуке – прямо посреди пустой комнаты.

– Раньше здесь была мебель, – в потрясении говорю я. Где она сидит? Где спит? Где ест? Я думала, что обеспечила ее всем необходимым.

– Совершенно кошмарная. – Миранда снимает через голову свитер и швыряет его в дальний угол. – Сейчас ее разбросали по другим комнатам в доме.

Ее комната абсолютная пустая. Голая комната. Ни единого гвоздика в серых стенах. Только одежда Миранды, разбросанная по черному полу, словно в любовном неистовстве. Миранда, такая тоненькая в узкой юбке и блузке, рывком открывает белую дверь, за которой скрываются матерчатые складные стулья, аккуратно составленные в стенном шкафу. Складной столик с тонкими ножками. Она достает их из шкафа, раскладывает, расставляет, заполняя пустое пространство.

– Сейчас я вам покажу свою коллекцию чая, – говорит она. – Я собирала ее несколько месяцев.

Миранда открывает еще одну белую дверь, ведущую в крошечную кухоньку со стареньким холодильником – низеньким, не выше меня.

– Виноградные листья. – Она выставляет на стол стеклянные баночки и пластиковые тарелки. – Маринованные артишоки. Вы любите оливки?

Чайник уже на плите, синие языки пламени облизывают его донце. Миранда тянется к верхней полке, высоко надо мной, ее тонкие ребра под легкой блузкой устремляются вверх.

– Клубничный, малиновый, мятный. – Коробки с чаем сыплются на кухонный стол. – Это все для вас. – Она такая большая. Ее сердце стучит сквозь разделяющий нас дюйм воздуха. – Я не знала, какой чай вы любите, поэтому, если видела что-нибудь необычное, сразу брала. На всякий слу-

чай. Если вы все-таки согласитесь ко мне зайти. Сейчас я дам вам халат. Можете переодеться в ванной.

Сон длится одно мгновение, но в этом сне я попадаю в кошачью клетку, и тигры обходят меня, вскользь задевая своими тугими горячими боками. Но это не тигры, а Миранда плавно огибает меня и выходит в пустую гостиную, собирает разбросанную одежду и прячет ее непонятно куда. Словно по волшебству, открывает белые двери и ящики, точно приоткрывая на мгновение свои тайны, возвращается в кухню, снова – в гостиную, опять – в кухню, и вот уже складной столик в гостиной буквально ломится от угрожающих деликатесов в маленьких мисочках.

Миранда кладет на стол карандаши, альбомы для рисования, зловещего вида фотоаппарат. Потом отступает на шаг и, прищурившись, смотрит на меня. Смотрит задумчиво, оценивающе. Сейчас она очень похожа на своего отца. Мне в сердце вонзается ледяной нож.

– Вы не замерзнете? – спрашивает она.

– Нет.

– Хорошо. – Миранда подходит к встроенным шкафам. – Сначала я сделаю несколько снимков, пока вы еще свеженькая, неуставшая, а потом стану делать наброски, пока вы не утомитесь или вам не надоест. – Она говорит через плечо и роется в ящиках, чтобы не видеть, как я дрожу от страха. Она поймала меня на слове и уже не отпустит.

– Фотографироваться очень просто. Сложно позировать

для рисунков, когда надо долго сидеть в одной позе.

Она выдает мне зеленую пижамную куртку, открывает дверь в ванную, включает свет и произносит:

– Там на двери – крючки, на них можно повесить одежду. Ой! Чайник кипит!

Я стою в ванной с высоченными потолками и тупо таращусь на дверь. Мне слышно, как с той стороны ходит Миранда. Зеленая пижамная куртка, которую я прижимаю к груди, волочится за мной по полу, как шлейф. Миранда что-то напевает в кухне. Внезапно ошеломляющая любовь изливается из меня, как молоко из разбитого стакана. Она мною манипулирует. Помыкает мной, словно я просто ходячее пузо вроде того продавца газет. Она считает, что может мной распоряжаться, что я полностью ей подчиняюсь. Алый гнев опалает меня изнутри. Она совершенно меня не видит. Она не видит *меня*. Она не знает, с кем имеет дело. Я – наблюдатель, создатель и зачинатель. Она такая же, как ее отец. Небрежно, как бы мимоходом, Миранда порабощает меня моей любовью. Она не знает о скрытых силах, держащих меня здесь. Она считает, что все дело в ее обаянии и хитрости.

– Чай готов, – зовет Миранда.

– Сейчас иду, – отвечаю я тоненьким голосом, но не могу сдвинуться с места. В бешенстве я пихаю в рот манжету пижамной куртки и прикусываю ее, чтобы не завывать в голос.

Вдруг у меня перед глазами – ее рисунок, в рамочке под стеклом, на серой стене рядом с раковиной. Чернильная чер-

нота, из нее проступают глаза и зубы, и вопящая курица тщетно пытается вырваться, пойманная зубами, перья летят во все стороны, и черная кровь стекает по белой птичьей шее. Штрихи, как следы от ударов кнута. На белой полоске внизу – тихая надпись карандашом: «Как любят гики – М. Баркер».

Я раздеваюсь. До крючков на двери мне не дотянуться. Я складываю одежду на бачок унитаза, водружаю сверху парик и стою в одних туфлях. Потом надеваю пижамную куртку. Ее подол почти достает до пола.

Я сижу. Миранда рисует. На мне нет ничего, кроме очков с темно-синими стеклами, и хотя мне не холодно, моя голая, незащищенная кожа покрылась пупырышками, как шершавый коровий язык. Пар от чашек с горячим чаем поднимается в бледный белесый воздух. Наш островок вмещает два раскладных стула и маленький перегруженный столик. Мы словно на необитаемом острове посреди дышащей пустоты, в этой комнате. Сумрак клубится вокруг, просачиваясь в мягкую даль серых стен. Занавески вяло колышутся в своей собственной белизне, как будто свет, проходящий сквозь них, имеет подвижную, хрупкую плотность.

Миранда перекачивает во рту косточку от оливки и хмурится, глядя в блокнот у себя на коленях. Ее непослушные локоны, выбившиеся из прически, завораживают меня. Миллионы волосков самых разных оттенков пламени – они такие же непостижимые и инородные, как и ее невероятно

высокий рост. Рост моей матери, Лиллиан – семьдесят дюймов. Мой собственный рост – тридцать шесть дюймов.

– Миранда, какой у вас рост?

Она поднимает голову, смотрит на мой подбородок и хмурится.

– Шесть футов, – отвечает она машинально, и ее взгляд вновь возвращается на бумагу.

Мне уютно смотреть, как она работает. Я снова чувствую себя невидимкой, просто соседкой по дому, с которой только здороваются на лестнице и тут же о ней забывают. Моя личность ей не интересна. Она ее не замечает. Миранда пристально смотрит на меня, но лишь для того, чтобы закрепить в памяти образ и сразу перенести на бумагу – просто картинка на сетчатке глаз, просто модель для рисунка. Я всего лишь муляж, временный предмет вечного обсуждения, что ведется между внимательными глазами и неспешной рукой.

Внизу, в квартире на первом, Хрустальная Лил водит лупой туда-сюда, ищет точку фокусировки. Все стены увешаны старыми, сморщенными цирковыми афишами. Дюжина юных прелестных Лил в ослепительно-белых, усеянных блестками трико улыбаются, стоя под куполом цирка, их руки тянутся вверх, к золотой надписи «Хрустальная Лил». Лил на афишах стоят, выгнув спину, на фоне сине-зеленого неба в россыпи звезд. Между афишами проглядывают обои в мышьяково-зеленых полосках.

В моих комнатах все точно так же, как было, когда я здесь

поселилась. Мягкая мебель отсыревает у стен с обоями капустного цвета. Моя настоящая жизнь разложена по коробкам и чемоданам в чулане. Моя настоящая кровать – не скрипучее пружинное лежбище в спальне, а темное гнездо из пледов и одеял в шкафчике под кухонной раковиной.

Миранда вырывает страницу, над которой работала, и рассеянно бросает через плечо, задумчиво глядя на банку, ошестинившуюся чернильными ручками. Листок падает на черный пол вниз рисунком, а Миранда уже приступает к следующей странице.

Я тихонько откашливаюсь и интересуюсь:

– А почему вы решили стать художником?

Из-под насупленных бровей она смотрит на мои ноги:

– Нет, не художником. Иллюстратором медицинской литературы. Для учебников и справочников... – Высунув язык, она терзает яростными штрихами беззащитный белый лист. – Понимаете, фотографии иногда могут сбить с толку. Рисунки бывают более четкими и информативными. Рисунки передают самую суть. Они живые. А эти придурки говорят, что я слишком несдержанна, что у меня показная манера... – Что бы она ни творила с безвинным листом бумаги, это никак не связано со мной. Миранда вырывает страницу, роняет на пол и тут же принимается за следующую.

– Мне нужно поговорить с вами. – Она очень старается, чтобы ее голос звучал легко и непринужденно.

Страх: «Она знает!» – сжимает мне сердце, но вскоре от-

пускает. Нет. Я сижу здесь лысая и голышом уже час. Слишком поздно для судьбоносных откровений.

Миранда прекращает грызть ноготь и спрашивает:

– Вы бывали в «Зеркальном доме»?

Я киваю. Миранда бросает ручку, берет карандаш и приступает к следующему листу.

– Тогда вы должны знать, – она не отрывает глаза от листа, – что нас, танцовщиц, набирают не из-за умения танцевать и даже не из-за внешности, а... – Миранда яростно трет большим пальцем по только что нанесенным штрихам. – Из-за того, что у нас у всех есть какие-то странности. Мы называем их нашими фирменными отличиями. В «Зеркальном доме» есть еще так называемая экзотическая программа. Она не для всех посетителей. Это приватная программа, в «закрытом» зале. Блондинки с доберманами. Групповые оргии. Любой каприз по желанию заказчика, за отдельную плату. В кабинках для наблюдателей стоят односторонние зеркала. Для исполнительниц садо-мазо существует специальная страховка. Собственно, именно на экзотике девочки и зарабатывают. И клуб тоже. – Поджав губы, она рассматривает свой рисунок. – У нас есть один постоянный клиент. Вернее, клиентка. Она заходит к нам не часто, но постоянно. Примерно раз в месяц она приходит на экзотическую программу. Два раза в год присылает чек на немалую сумму со специальным заказом. Сначала я думала, что она обыкновенная лесбиянка с уклоном в садо-мазо. Теперь мне кажется,

ся, что ей интересна не боль. Ей нравится менять людей.

Что-то в тоне Миранды настораживает меня. Внутри все сжимается от знакомого страха. Она тоже чувствует нечто подобное. У нее на лице – замешательство и смущение.

– Это богатая женщина. Хорошо платит. Ей нравятся трансвеститы, которые собираются поменять пол. Если они и вправду решаются на смену пола, она оплачивает операцию и восстановительное лечение. Вот так Полетта и стала женщиной. Если бы не эта клиентка, возможно, Полетта так бы всю жизнь и подвязывала себе яйца. «Зеркальный дом» постоянно нанимает трансвеститов, и эта клиентка оплачивает им операции. Но она наблюдает. Таково условие сделки. Она оплачивает все расходы и присутствует на операции. Причем не только по смене пола. На самом деле, ей интересно другое.

Леденящая мысль вымораживает меня изнутри. Опять?! Миранда рисует и говорит, глядя на мои локти, колени, лоб, грудь – куда угодно, только не в лицо.

Длинноволосая блондинка, Дениз, которая демонстрировала каскад лобковых волос, не так давно подписалась исполнить единичное представление по заказу клиента. Ее разложили на металлическом столе в одной из задних комнат, сделали местную анестезию и выжгли все волосы у нее на теле. Те, кто ее поджигал, сразу выбежали из комнаты, спасаясь от запаха. Дениз кричала... не от боли – от страха... а лысый конференсье в противогазе и огнестойком костюме

пожарного стоял рядом с огнетушителем наготове.

– Эта женщина оплатила все больничные счета Дениз и постоянно ее навещала. Я тоже ее навестила в больнице, за день до выписки. Она выглядела кошмарно. Огонь уничтожил корни волос, они уже никогда не отрастут. Все лицо теперь в шрамах. Ей нельзя делать пластические операции. Это одно из условий договора, который Дениз подписала. Вы не поверите, но она довольна и счастлива. Говорит, что мисс Лик, так зовут ту клиентку, отвалила столько денег, что ей теперь можно вообще не работать, уже никогда. Дениз говорит, что были и другие из «Зеркального дома». Одна рыжеволосая девушка с огромной грудью, которую ей ампутировали, потом поступила в университет, и теперь она врач!

Моя дочь смотрит мне прямо в лицо. Смотрит встревоженно, напряженно. Сейчас будет самое главное. Я уже чувствую, как оно надвигается. Миранда смотрит и ждет реакции. Любой реакции.

– Я почему вам все это рассказываю... В прошлую пятницу, после представления, мисс Лик пришла в гримерку и сказала, что у нее есть ко мне разговор. Она слегка грубоватая, иногда даже надменная. И всегда говорит напрямик, «сразу к делу», как она это называет. Первое, что мисс Лик сказала: «Я не буду домогаться тебя, так что расслабься». Как ни странно, но мне она нравится. Она пригласила меня в ресторан, заказала восхитительный ужин, хотя сама есть не стала, только пила. И пыталась меня разговорить, чтобы я расска-

зала ей о себе, и хотя я вообще-то стеснительная и не люблю откровенничать, тут меня вдруг прорвало. Я выдала ей все секреты. Бедная сирота, выросшая в монастырском приюте. Загадочный доверительный фонд оплачивает мне учебу в художественном колледже и долгосрочную аренду квартиры. Я выпила бокал шампанского, и у меня развязался язык. Она слушала как замороженная. Как оказалось, ее вовсе не интересует, что у меня между ног. Ее интересует мой хвост.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.